

Арагон

Да здравствует Польша, сударь!

В середине девятнадцатого века жил человек, окунувшийся в самую гущу бедствий и чаяний народных, поэт, чья песнь звучала от Персии до Парижа, от Рима до Москвы; он стал как бы символом этого века, века трудных родов, когда заблуждения людские были родовыми схватками, века, когда один французский художник смог написать такую странную фразу: «Единственная реальность — это надежда»*, — жил человек, само подобие века; он носил имя первого человека на земле; ему, потрясенному поражениями и слезами, могло казаться, что все погрузилось в туман и хаос, все, кроме отчизны, чей образ немеркнущим солнцем сиял перед его неукротимым взором. Той отчизны, что одновременно обрела Фредерика Шопена и Адама Мицкевича. Незримыми путями музыки и поэзии они так глубоко ввели Польшу в сознание современников, что ее голос звучал укором у каждого очага. И Франция отозвалась на ее призывы, и великодушные узнали, что значит потерять сон; люди «порядка», желавшие во всем видеть только «золотую середину» и равновесие, пожимали плечами, между тем как Гюго, Виньи, Жорж Санд чувствовали, что сердца их обливаются кровью при одном только упоминании о Польше.

* * *

В середине девятнадцатого века жил поэт, чье положение остается исключительным и по сей день, спустя сто лет после его смерти. Ибо, при всех своих страстях и заблуждениях, при незнании законов истории, при склонности верить иногда, что некое чудо поможет сбыться надеждам его народа, — Адам Мицкевич все же сумел показать и утвердить глубокие связи, всегда соединявшие его истерзанное отечество со всеми теми людьми в Европе, которые, родившись в странах тирании, были едины в своей любви к свободе, в своей любви к демократии.

Нужно уметь одним дыханием читать стихи этого поэта и историю его времени, и только тогда поймешь, что было главным в жизни века и жизни поэта, — даже если они сами того не сознавали.

О, я знаю, в игре, которую вели правительства и монархи, не раз в ту эпоху лжи и иллюзий раздавались высокие заверения в дружбе, чудесные обещания помочь Польше... Князья, министры побуждали к мятежу, к битвам, к восстанию этот доверчивый народ, оставлявший свой плуг, чтобы идти за молодыми генералами — выходцами из дворянских кругов Польши... Но разве не французская революция придала

Статья Арагона опубликована в еженедельнике «Леттр франсэз», 1955, № 566. Печатается с сокращениями.

* Филипп-Огюст, Жанрон (1834). — Прим. автора.

мужество Тадеушу Костюшке и разве Ян-Генрик Домбровский *, через три года после поражения Костюшки, после Термидора, поднявший в Риме союзные знамена Франции и Польши под командованием Бонапарта, — разве не писал он: «Завоевания французской республики — вот единственная наша надежда»? И, несомненно, честолюбие корсиканца, мечтавшего о Брюмере и о женитьбе на дочери австрийского императора, заставило его обмануть поляков, которые были для его солдат братьями по оружию... А позже, когда июльское солнце согрело молодые ростки Польши, тогда Луи-Филипп... Но к этому я еще вернусь.

Нет, свобода — это занятие не для королей и императоров, и в этой партии в покер, которую они играют, величая один другого «возлюбленный брат мой», тогда как их подданные режут друг друга, — свобода народов оказывается лишний картой, и ее охотно сбрасывают. Но простым сердцам нет доступа к этой высокой политике, и они попрежнему обращают свои взоры к Испании, Греции, к Польше, — даже и тогда, когда Лувр и Елисейский дворец ** решали вопрос по-иному...

В середине девятнадцатого века жил поэт, который был связующим звеном этой любви; он был близок с Пушкиным и Мишле ***, и с Фанимором Купером — в Риме, где он искал воспоминаний о Яне-Генрике Домбровском, — и с Ламартином, и с Ламенне, Монталамбером, Эдгаром Кине ****. Но это другая страница истории, истории о том, как петербургские декабристы предшествовали героям Июля, — героям, брошенным после восстаний тридцатых годов во Франции в тюрьмы, на казнь, на эшафот... Все это уже далеко от нас и, однако, так удирительно напоминает время, участниками и свидетелями которого являемся мы.

ВЕЙМАР, АВГУСТ 1829 ГОДА

Это было в августе 1829 года. Скульптор Давид д'Анже, в сопровождении молодого студента Виктора Пави, приехал с визитом в Веймар к Гете, надеясь вылепить его бюст. 24 августа 1829 года, после двухнедельного пребывания путешественников у Гете, Виктор Пави в письме к своему отцу описал обед, состоявшийся накануне:

«За обедом некий иностранец..., сидевший рядом с одним из своих друзей, вступил в нашу беседу, сказал, что он поляк, и ответил на несколько наших вопросов относительно польской литературы, которая буйно и молодо расцветает в этой стране. Я несколько неопределенно спрашивал его о человеке, имя которого я никогда не могу правильно произ-

* Тадеуш Костюшко (1746—1817) — выдающийся деятель польского национально-освободительного движения, участник войны за независимость североамериканских колоний в 1776—1783 годах. В 1794 году Костюшко возглавил польское восстание. Эмигрировав после поражения восстания во Францию, Костюшко, оставаясь убежденным республиканцем, отказался сотрудничать с Наполеоном и принять на себя командование польскими легионами в составе наполеоновской армии. Ян-Генрик Домбровский (1755—1818) — польский генерал, участник восстания Костюшко в 1794 году. Поверив обещаниям Наполеона о восстановлении независимости Польши, Домбровский принял участие в наполеоновских походах.

** Лувр — резиденция французских королей; Елисейский дворец — резиденция президентов французской республики.

*** Жюль Мишле (1798—1834) — французский либеральный историк. За свои демократические взгляды Мишле был после 1848 года лишен кафедры в Коллеж де Франс.

**** Аббат Ламенне (1782—1854) — французский публицист и общественный деятель. Шарль де Монталамбер (1810—1870) — французский либеральный политический деятель, в 1830-х годах сотрудничал с Ламенне. Эдгар Кине (1803—1875) — французский мелкобуржуазный политический деятель и историк.

нести. Когда он вышел, его приятель остался и сказал нам, что этот человек составляет поэтическую славу его родины, и в конце концов назвал имя оригинала своего портрета. (Историю с портретом я объясню позднее. — *Арагон.*) Оба они остановились в гостинице. Они возвращаются в Рим. Они пробудут здесь до дня рождения Гете. Г-н Давид уже приготовил воск, чтобы увезти из Веймара еще один сувенир».

Да, эта первая встреча Франции с автором «Дядюв» — Франции, представленной выдающимся скульптором, — принесла нам образ Мицкевича, каким он сохранился в сознании грядущих поколений. Бронзовая медаль датирована 1829 годом. Давид привез ее с этих празднеств в честь восьмидесятилетия Гете.

Спутником Мицкевича был поэт Эдвард Одынец. В исследовании, опубликованном в нынешнем году в Варшаве, Мечислав Яструн вспоминает рассказ Одынца об этом визите к Гете. «Но нельзя поручиться за точность этого сообщения», — говорит автор. Однако оно, хотя бы в какой-то своей части, находит подтверждение и в письмах Виктора Пави и в заметках, которые Давид оставил своей семье. Виктор Пави в книге «Гете и Давид» рассказал эту сцену немного иначе. Вот как излагает ее Анри Жуэн, биограф Давида:

«Однажды вечером, когда Давид со своим юным спутником заканчивали обед в гостинице «У слона»*, г-н Пави в присутствии двух иностранцев, повидимому, славян, рассказал, что в своей студенческой комнате он повесил портрет Мицкевича, народного польского поэта.

— Однако, — перебил один из слушателей, — этот портрет не похож. — Эта странная реплика все объяснила студенту. Мицкевич, певец «Романсов и баллад», собственной персоной, — был перед ним!

— Погодите! — вскричал Давид. — Я вас не отпущу, пока не сделаю портрет, который будет похож на вас».

И пока Давид лепил в воске портрет, Мицкевич, импровизируя, переводил на французский язык свою поэму «Фарис» — «Касыду, сочиненную в честь эмира Таж-уль-Фехра» (под этим именем Вацлав Ржевуский, поэт и солдат, покинув поработленную Польшу, достиг в Аравии звания эмира. Впоследствии, в 1830 году, он вернулся и создал эскадрон волонтеров, которых снабдил быстрыми конями, привезенными им из Аравии; в этом восстании он нашел свою смерть).

Очевидно, сообщение Одынца полностью соответствует сообщениям Давида и Пави. Об этих днях имеется также свидетельство одного бельгийского астронома, и оно тоже не противоречит ни Пави, ни Одынцу.

Два француза и два поляка взобрались на Иенский холм — и все четверо вернулись, опьяненные, как говорит Пави, «той гордостью, которая, как хмель, действует на любого, даже самого скромного француза». Они присутствовали все вместе на первом в Германии представлении «Фауста», данном в честь Гете. Вечером следующего дня Мицкевич — у Гете; здесь выставлены для обозрения полученные Гете подарки; гости пьют чай. Вскоре Давид и Пави расстаются со своими новыми друзьями. Для того чтобы состоялась их новая встреча, нужна была революция во Франции, а в Польше — новое восстание, на этот раз тоже подавленное.

МИЦКЕВИЧ И ДЕКАБРИСТЫ

Мы плохо представляем себе отношения, существовавшие между польскими патриотами и русскими людьми того времени. Не расходились ли они во взглядах на то, как им следует действовать? Но Мицкевич сразу понял, где истинные друзья поляков. Он не смешивал царя

* «У слона» — название гостиницы в Веймаре. — *Прим. автора.*

с великим народом, угнетаемым царизмом. Наличие общих врагов позволяло видеть общность судьбы Мицкевича и его русских друзей.

Русские друзья Мицкевича, друзья Польши — это декабристы, с которыми он был связан и которые пытались свергнуть царя Николая на следующий же день по его воцарении на трон, царя Николая, потопившего Польшу в крови. Мишле писал о Рылееве:

«К какому бы источнику вы ни обратились, все они свидетельствуют об одном: Рылеев — один из величайших характеров в истории. Военный, затем чиновник американской компании, учрежденной в Петербурге, он не пренебрег местом секретаря уголовного суда, хотя это место не оплачивалось, — это акт высокого гражданского значения: в атмосфере продажности было важно, чтобы эта должность не попала в недостойные руки. Рылеев был поэтом: нельзя без слез читать его пророческую поэму...

В этой поэме Рылеев первым из русских написал слова, непривычные для России того времени, но великие и святые для будущего: «Я не Поэт, а Гражданин».

Говоря о роли декабристов в укреплении связей между Россией и Польшей, обратимся к тому, что пишет Мицкевич в «Дзядях», в третьей части. На балу у сенатора Новосильцева, правой руки царя, среди филаретов и филаретов, польских подпольщиков, находится и Бестужев. И один из поляков, Юстин Польш, говорит Бестужеву, указывая на сенатора:

Всадить бы нож ему в утробу,
Иль хоть пощечину влепить.
Бестужев
Лишь бестолку сорвешь ты злобу, —
Что пользы одного убить!
Они вам поднесут гостинца —
Закроют университет.
Мол, «все студенты — якобинцы», —
И нации погубят цвет.
Юстин Польш
Но за мученья он заплатит.
За кровь, за это море слез.
Бестужев
Псов у царя на псарне хватит,
Хотя б издох какой-то пес.
Польш
Ножом пырнуть бы эту жабу.
Бестужев
Нет! говорю последний раз!
Польш
Позволь его избить хотя бы!
Бестужев
И сразу погубить всех нас!

По Мицкевичу, Бестужев приехал из Петербурга для того, чтобы вести переговоры с поляками, прежде чем приступить к осуществлению декабристского заговора. Переводчик Христиан Островский говорит в своих примечаниях, что филареты и Бестужев совещались в Киеве и в Вильне. «Он упрекал наших патриотов, — пишет Христиан Островский, — в их приверженности к монархической форме правления и в их отвращении к пролитию крови монархов. Пусть только начнется революция — вы увидите, что русские пойдут дальше нас...»

В образе Бестужева, созданном Мицкевичем, видна политическая зрелость, виден пример, который русские демократы подавали польским заговорщикам. Бал у Новосильцева состоялся в Вильно в тот самый мо-

мент, когда шли переговоры между филаретами и декабристами. Дело происходило, очевидно, в 1823 году; именно тогда молодой учитель Мицкевич был арестован и выслан в Россию.

ВАРШАВА, 1830—31 ГОДЫ

В 1830 году, находясь в Женеве, Мицкевич узнал, что Париж восстал. Царь Николай привел в боевую готовность польскую армию, чтобы использовать ее как авангард в карательной экспедиции против французской революции. Но поляки повернули оружие против царя, не желая воевать с французами. 29 ноября восставшие, руководимые горсткой молодых людей, захватили Бельведер, откуда бежал великий князь Константин, брат Николая. Варшава была освобождена. Но поляки были разобщены.

В этих условиях обещания, шедшие в Варшаву из Парижа, имели особую ценность: поддержка со стороны французских войск, поддержка, которую сулили полякам, была аргументом в пользу тех, кто грозил жупелом французского недовольства. Не нужно портить настроение кабинету Луи-Филиппа. Вы же видите, Лафайет, Могэн, Ламарк * требуют в палате интервенции.

Нашелся и тогда свой Деа **, который не захотел «умирать за Данциг»; он звался Дюпэном; а премьер-министр «короля баррикад» *** Казимир Перье заявлял с трибуны: «Мятеж — это всегда преступление. Мы не признаем ни за одним народом права принуждать нас сражаться за его дело». Шли месяцы; в Варшаве всячески изворачивались, стараясь остаться в рамках конституционной законности. И даже тогда, когда армия царя вступила в Польшу и генерал Сквинецкий нанес ей чуть ли не десять поражений, — этот генерал сам добровольно отошел к Варшаве и, вместо того чтобы атаковать, остановился в нерешительности.

Это был неслыханный поступок, позволивший русским прийти в себя и подготовивший падение Варшавы. Между тем медлительности Сквинецкого и добивался министр иностранных дел Луи-Филиппа Себастиани, обещая ему французскую помощь. Луи-Филипп в письме к Талейрану похвалялся проведенным маневром: «Нас, — писал он, — а не победителей под Варшавой и не кабинет Санкт-Петербурга надо благодарить за то, что Польша раздавлена».

Мицкевич, находившийся в районе Познани, у самых границ своей родины, и надеявшийся вступить в ее пределы..., присутствовал при отходе польской армии в Пруссию, видел офицеров и солдат, схваченных в плен, или бежавших перед царскими пушками, или расстрелянных... Ему пришлось опять уехать в Саксонию. В Дрездене к нему присоединился его друг Одынец... Здесь и написал он третью часть «Дзядов». Но, по требованию царя, Саксония запретила полякам пребывание на ее территории. Мицкевич 1 августа 1832 года приезжает в Париж.

ПАРИЖ, 1832 ГОД

Мицкевич живет на улице Майль, в гостинице, которую рекомендовал ему профессор Лелевель, приехавший в Париж раньше Мицке-

* Лафайет, Могэн, Ламарк — либеральные деятели Франции периода Июльской монархии.

** Деа — французский реакционный политик, проповедовавший накануне второй мировой войны необходимость капитуляции перед фашистским агрессором; в годы оккупации Франции — прислужник нацистских захватчиков.

*** «Королем баррикад» иронически называли Луи-Филиппа, который стал королем Франции, воспользовавшись победой демократических сил в Июльской революции 1830 года.

вича. Так же как в Петербурге декабристы поднялись против Николая в союзе с польскими патриотами, так 5 и 6 июня, меньше чем за два месяца до приезда поэта, подлинные французские союзники Польши восстали против того Луи-Филиппа, который недавно оказался спасителем Николая. 1831 год завершился пролитием крови лионских рабочих. Лето 1832 года началось с похорон генерала Ламарка и событий у монастыря Сен-Мерри*. Мицкевич приехал в Париж в тот час, когда маршал герцог Далматский**, военный министр, только что приказал закрыть Политехническую школу. Во Франции царил такая же атмосфера, какую мы знаем по 1939 году, когда понесли поражение испанские республиканцы. В пользу польских эмигрантов проводили сбор денег; выпускали книги, славившие эту страну и ее патриотов; Лафайет был председателем франко-польского комитета; обе палаты голосовали за миллионные кредиты для поляков. По всей Франции росло движение дружбы и солидарности. Полицейские препятствия, правительственные происки встречали отпор общественного мнения. Да, Франция Июля, та Франция, что кричала в Лионе: «Ждать, работая, или умереть в бою!», та, по которой «король баррикад» приказал стрелять в восставшем Париже, широко открыла объятия изгнанникам, — как еще вчера это сделали Бестужев, Рылеев, Пушкин. Общие враги, общие надежды. И Луи-Филипп вполне мог похвалиться тем, что он предоставил Николаю решительную помощь в борьбе против Польши. Кровь его собственного народа была тому подтверждением.

МОЛОТ И НАКОВАЛЬНЯ

В 1833 году Шарль де Монталамбер перевел «Книгу народа и пилигримства польского», только что написанную Мицкевичем. Поэт жил тогда на площади Обсерватории, и его окна выходили в сторону Люксембургского сада. Он говорил в своей книге: «Правители Франции и пастыри Франции, вы все, кто говорит о свободе и служит деспотизму, — вы будете брошены между иноземным деспотизмом и вашим народом, как брусок бездушного железа между молотом и наковальней.

И вас начнут ковать, и шлак и искры брызнут во все концы света, и народы скажут: «Должно быть, там идет большая работа, как в адской кузне».

И вы крикнете молоту — народу своему: «Народ, смилуйся над нами и перестань бить; ведь мы же говорили о свободе». И молот скажет: «Ты говорил одно, а делал другое». И с новой силой обрушится на вас.

И вы крикнете иноземному деспотизму — глухой наковальне: «О, деспотизм! Мы служили тебе, стань мягче и расступись, чтобы мы могли спрятаться от молота!» И деспотизм скажет: «Ты делал одно, а говорил другое». И повернется к вам своим твердым и холодным хребтом, и брусок будет разбит, и никто не узнает вас в расплюсненном куске железа...»

Эти строки были написаны в 1833 году, и я вновь пишу их в 1955 го-

* 21 ноября 1831 года лионские рабочие шелкоткацких фабрик подняли вооруженное восстание, требуя удовлетворить их экономические требования. Восстание было со зверской жестокостью подавлено войсками Луи-Филиппа. 5—6 июня 1832 года в Париже вспыхнуло большое республиканское восстание, непосредственным поводом к нему явились похороны генерала Ламарка, популярного либерального деятеля. Здание монастыря Сен-Мерри в Париже явилось одним из главных опорных пунктов республиканцев в дни восстания в июне 1832 г.

** Маршал Сульз (1769—1851) — реакционный политический деятель, министр в правительстве Луи-Филиппа, руководивший расправой над восставшими лионскими рабочими (в 1807 г. Сульз, участник наполеоновских войн, получил титул герцога Далматского).

ду. Исполнилось сто двадцать два года, как Мицкевич, покинув площадь Обсерватории, снял две комнаты на улице Сен-Никола-д'Антен. В 1955 году Мицкевич, отлитый из бронзы, живет на перекрестке Альма, и автомобили мчатся вокруг колонны, на которой он стоит в плаще из камня с отвернутой ветром полою. А эти неувядаемые слова, обращенные однажды ко всем вам, правители Франции и пастыри Франции,— разве вы не слышите их и сегодня в уличном шуме? Их смысл не изменился, и, если вы их повторите, эти слова более чем столетней давности, постарайтесь не выдать своей дрожи.

ДРУЖБА НАРОДОВ

Не без дрожи пожинали они плоды Июля, эти июльские победители. Этот страх перед растущими силами демократии и эти герои Польши, которых они приветствовали в своих демагогических целях (почему было не сохранять вид защитников свободы назавтра после дней 1830 года, когда речь шла о делах, происходивших за тридевять земель?), — разве это не было вкладом в революцию? Правительство, родившееся в уличных боях, не ошибалось в этом. И тогда префект полиции Жиске, ставленник Казимира Перье, который незадолго до того умер от холеры, воскресил старый трюк, вычитанный им в книгах. Какой романтик, листая хроники времен Столетней войны, посоветовал ему это? В то время Бертран дю Геклен, боясь всяких бесчинств со стороны наемных солдат, служивших ему в борьбе против англичан, придумал выпроводить их за пределы Франции, в Испанию, где они и были уничтожены. Таким же нежелательным элементом были для правителей Июльской монархии патриоты Парижа, и патриоты Италии, и патриоты Греции, и патриоты Польши. Всем было известно, что они делали общее дело. И префект Жиске задумал направить их энергию к некоторым весьма отдаленным целям.

В Португалии два брата, дон Мигель и дон Педро, спорили из-за престола. Первый из них, абсолютист, пользовался поддержкой французских монархистов, сторонников Карла X, карлистов, руководимых старым предателем Бурмоном. В интересах Орлеанского дома было нанести поражение Мигелю, и Луи-Филипп поддерживал Педро, который защищал королевство, основанное на хартии английского образца, стремясь получить помощь Франции и Великобритании для себя и своей дочери, донны Марии.

На деле, Луи-Филипп не дал ни одного су, ни одного ружья, ни одного человека дону Педро. Но Жиске приказал организовать неофициальную вербовку добровольцев среди республиканцев и эмигрантов, особенно среди поляков. Двойная выгода: делаешь вид, что защищаешь «свободу», и избавляешься от беспокойных элементов.

Многие попались на эту удочку. Пятьсот добровольцев были уже посажены на корабль в Булони, когда республиканцы, во-время извещенные об этом, подняли тревогу, чтобы заставить вернуться тех, кто попал в ловушку и кого посылали на убой во имя упрочения королевского трона.

Точно так же и до наших дней велась пропаганда среди иностранцев, участников Сопrotивления, и среди них было немало поляков, которым, в качестве единственного выхода, предоставлялось вступить в иностранный легион или отправиться воевать в Индо-Китай. И тогда тоже, как и сегодня, тем, кто не попал в капкан, пришлось познакомиться с высылкой, с полицейским надзором, с голодом. Тем самым «пастыри» и «правители Франции» спустя целый век также признали единство задач патриотов всех стран, демократическую природу франко-польской дружбы.

В Париже связи между польской эмиграцией и республиканцами были особенно тесными. Мицкевич сблизился с Давидом д'Анже, и это означало, что привязанность скульптора к Польше росла. Он сделал портреты поэта Немцевича, и руководителя консервативной партии Чарторыйского, и вождя партии движения Лелевеля. Сохранился рисунок Давида «Памяти польского воина»; внизу рисунка Давид заверяет М. Звертовского «в своей глубочайшей преданности делу Польши...»

Позже, когда эмигранты стали казаться менее опасными, французское правительство сочло возможным доставить оппозиции удовлетворение, ничего правительству не стоившее, и, по просьбе Виктора Кузена, предоставило великому поэту Польши кафедру славянских литератур в Коллеж де Франс. Известно, чем это закончилось, известно, что запрещение курса Мицкевича в Коллеж де Франс связано с запрещением курсов Мишле и Эдгара Кине, с тем движением умов, в котором Июльская монархия нашла свою гибель, с подготовкой к 1848 году, с революцией. Таким образом, еще один раз дружба Франции и Польши переплелась с историей республиканцев. Еще раз студенты выкрикивали на улицах имя Мицкевича, как в 1831 году в Бельведере, — но на этот раз не в Варшаве, а в Париже... На бульжниках мостовых — вот где дружба народов приобретает свой подлинный смысл.

ГОД МИЦКЕВИЧА

Нынешний, 1955 год — это год Мицкевича, и песнь поэта объединяется с делом мира, которое так же близко народам всей земли, как было некогда близко им дело разделенной Польши.

Доколе же позволим мы обманывать себя тем, кто говорит одно и делает другое? Доколе же, со дней Луи-Филиппа, мы будем позволять осмевать и обманывать нас? А в отношении Польши... В 1939 году монархи и кабинеты делали вид, что военная помощь Англии и Франции спасет Варшаву... В 1943 году агитаторы из Лондона толкнули население Варшавы на преждевременное восстание, толкнули, хорошо зная, что они делают, — чтобы попытаться обратить в один прекрасный день тех, кто останется в живых, против единственной армии, когда-либо приходившей на помощь Варшаве, против армии потомков декабристов, Бестужевых, Рылеевых, против армии, победившей тиранию... И вот сегодняшние луи-филиппы, презрев присягу в верности, презрев скрепленный кровью союзнический долг, готовы рассматривать границу Польши, линию Одер — Нейссе как объект купли-продажи... О нет, правители и пастыри Франции, вы не сможете безнаказанно играть той Польшей, имя которой — Мир, — иначе страшитесь, страшитесь оказаться между молотом и наковальней, между вашим народом и вашими иностранными кредиторами, которые потребуют от вас того, что вы не можете, что вы никогда не сможете потребовать от вашего народа!

Но нынешний год — год Мицкевича — несет с собой и другие воспоминания, видения... Голос поэта... Очарование этой музыки, что написана на Балеарских островах*, — ее слушала Жорж Санд, — музыку, подобную дождю над морем...

Ибо мы помним не только об изменах наших господ. Мы бережем в своем сердце песню непреходящей дружбы, подобной дружбе Мицкевича и Бестужева. Мы, французы, помним о Домбровском.

* Имеется в виду музыка Шопена.

ДОМБРОВСКИЙ

Я буду говорить здесь не о Яне-Генрике Домбровском, который в 1797 году вступил в Рим с польским легионом армии французской республики. Я буду говорить об изгнаннике, о Ярославе Домбровском, осужденном после польского восстания 1863 года на сибирскую каторгу; о нем, бежавшем из пересыльной тюрьмы и достигшем Франции и сражавшемся в рядах наших армий, защищая Париж.

Ибо пусть король Франции отдал Варшаву «возлюбленному брату своему» Николаю, но Польша дала Парижу человека, который защищал его от армий Вильгельма. И когда версальцы открыли пруссакам дорогу на Париж, Домбровский не случайно встал на сторону тех, кто не признал капитуляции, на сторону народа, на сторону французской независимости, на сторону Коммуны. Домбровский — сама логика истории. Этот сын Польши, ставший французским генералом, извлек урок из событий своего века. Он знал, кто истинные союзники его отечества, он знал, что парижские рабочие, штурмуя небо, делали именно то, от чего Луи-Филипп отговаривал защитников Варшавы; он знал это, обладая той новой мудростью, которая приходит не сразу, которая включает в себя наследие Рылеевых, Бестужевых, героев Июля, варшавян Бельведера, ткачей Лиона, инсургентов монастыря Сен-Мерри, мудрости, которая приходит, следуя за новой философией — философией грядущих народных побед... На парижских мостовых не только песнь Мицкевича, но и кровь Домбровского, а «Марш» Шопена — не только похоронная мелодия, но и марш героев, память о жертвах, о мучениках...

Книга «Польша, исторические сцены, памятники и т. п.» — книга, «посвященная Франции» (она была опубликована, под редакцией Леонарда Ходзко, в 1835—1836 годах Игнацием Станиславом Грабовским в Париже, где он жил на улице Сент-Оноре, 345), — открывается гравюрой, где на ленте под изображением польского и французского солдата написано: «француз и поляк — друзья навеки». Может быть, эту дружбу мы теперь понимаем не так, как Игнаций Станислав Грабовский сто лет назад. История постепенно изменяет содержание великих идей, и это рукопожатие старого наполеоновского служаки и гусара в конфедератке приобрело новый смысл в последние годы. Но дружба остается, дружба Домбровского и народа Франции, и символическая фигура, возвышающаяся над рукопожатием, — это не есть более знак военной славы, лавровые венки, орлы обоих отечеств... это — все человечество, которое простерло руки над гражданами Франции и Польши, и эти руки выпускают голубей, и песня, льющаяся из их уст, не та песня, что ведет к битвам, а та, что делает их невозможными:

Сдвинься, твердь, с орбиты бывалой,
С нами ринься на путь окрыленный,
Ты припомнишь возраст зеленый,
С кожей расставшись завялой.
Когда в мирах былой полуночи
Вражда стихий пировала бурно,
Одно „да будет“ господней мощи
Обосновало закон природы, —
Запели вихри, помчались воды,
Возникли звезды в тверди лазурной.
Так и сейчас еще ночь глухая,
Все человечество в алчных войнах.
Чтобы любовь благая воскресла,
Встанет из хаоса дух, полыхая,
Пусть зачнет его юность во чреслах,
А дружба взрастит в объятиях стройных.

Ломают льды весенние воды.
С полною свет сражается тьмою.
Здравствуй, ранняя зорька свободы!
Солнце спасенья грядет за тобою!

Это — слова из «Оды к молодости» Адама Мицкевича. Говорят, в день восстания 29 ноября 1831 года юноши, штурмовавшие Бельведер, пели ее. Кое-что в этих словах, быть может, и устарело, кое-что может сегодня показаться неточным и расплывчатым, но только не чувство, которое трепещет, как парус под вольным ветром, чувство, которое ощущали эти молодые люди при штурме Бельведера, которое ощущал Домбровский перед осажденным Парижем; это чувство остается неизменным — даже если меняются слова, даже если приходят новые слова — в дни побед, в те дни, когда бледнеет враг!